

*Книжная полка***НЕМЕЦКИЕ МАНДАРИНЫ:
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ***В.А. Куренной**Государственный университет – Высшая школа экономики*

Выход книги Фрица Рингера «Закат немецких мандаринов: Академическое сообщество в Германии, 1890-1933» на русском языке – важное событие, включающее этот труд в широкий оборот в отечественной научной и образовательной среде. Работа вышла в отличном переводе и с информативным и интересным послесловием Даниила Александрова.

В настоящей рецензии я не буду задерживаться на пересказе содержания этой обширной работы. Намного полезнее, мне кажется, использовать выход этой работы для того, чтобы развернуть более широкую дискуссию о методологии социологии знания. Поэтому здесь я ограничусь некоторыми критическими замечаниями в отношении как работы Рингера в целом, так и его методологии. Они не являются новыми¹, но выход работы в полном виде на русском языке – хороший повод, чтобы их уточнить. Изложенные ниже аргументы не следует рассматривать как критику социологии знания в целом – как раз я являюсь горячим сторонником этого подхода. Но работа Рингера, на мой взгляд, на сегодняшний день уже не является хорошим образцом социологии знания. По этой причине мне представляется не совсем удачным стремление канонизировать Рингера, настаивая на «классическом характере» этой работы², а ведь «классический» – это и значит образцовый.

На сильных сторонах работы Рингера я не стану задерживаться. Но в первую очередь они связаны с огромной работой над текстами соответствующего периода, которые не часто попадают в фокус внимания исследователей. Например, можно узнать, что Зомбарт в 1911 году уже анализировал связь между технологическими и культурными изменениями, очевидно, опередив в этом Вальтера Беньямина и других медиа-теоретиков. А вот Леопольд фон Визе предвосхищает Г. Шельски с его идеей современных интеллектуалов как «нового клира»: в 1918 году фон Визе в аналогичных терминах рассуждает про взаи-

¹ См., например, *Куренной В.* Философия и институты: случай феноменологии // Логос 2002 5/6 (35).

² См. *Александров Д.* Немецкие мандарины и уроки сравнительной истории // *Рингер Ф.* Немецкие мандарины. М.: НЛЮ, 2008. С. 592. Эту же характеристику повторяет в своей рецензии и Р. Фрумкина «Наука и ее творцы в исторической перспективе: Заметки о книге Фрица Рингера «Закат немецких мандаринов»» [<http://www.polit.ru/author/2009/01/30/science.html>].

моотношения писателя и государства (С. 313). Также мало где встретишь хотя бы введение в педагогические дискуссии межвоенного периода в Германии, которые отчасти нашли отражение в работе Рингера. Но я с сожалением должен констатировать, что многочисленные попытки эксплицировать позиции рассматриваемых им немецких гуманитариев далеко не однородны – где-то это получается у Рингера хуже, где-то лучше, где-то совсем не получается. Поэтому книгу я бы рекомендовал к прочтению с большой осмотрительностью: суждения Рингера иногда просто неадекватны и требуют перепроверки (некоторые такие случаи я приведу ниже). Но было бы нелепо винить в этом автора – в свое время он новаторски взял в работу очень большой материал, не опираясь на какие-то устоявшиеся интерпретации или исследования. Но с тех пор прошло уже достаточно времени, и наше знание о многих из этих вещей немного расширилось. Впрочем, моя задача состоит не в том, чтобы посредством комментария исправить эту ситуацию, а в том, чтобы обратить внимание на эвристические особенности подхода Рингера и его ограничения.

Рингер называет свой подход выполненным в рамках «идеологической каузальности»: «некоторые немецкие научные теории можно рассматривать как выражение коллективных эмоциональных предпочтений» (С. 9) – это аппликация, прежде всего, идей Карла Мангейма³. Эти «эмоциональные предпочтения» трактуются, по сути, как социально-психологическая особенность того, что Рингер называет «идеальным типом», каковой и есть «мандарин». Мандарины – социальная группа, представляющая собой образованную элиту. Как замечает сам Рингер, история мандаринов – это «в большой степени история бюрократии» (С. 12). Но Рингер быстро сужает этот широкий захват, ограничившись анализом лишь немногих представителей этой немецкой бюрократии, а именно университетскими гуманитариями. Особый тип немецкого мандарина Рингер объясняет спецификой модернизационного процесса в Германии, когда немцы осуществляли переход от аграрного общества к индустриальному. Специфика здесь состоит в том, что здесь аристократия – это уже уходящая натура, а буржуазия еще не сформировалась как сильная социальная группа. Таким образом, «Закат немецких мандаринов» – это история одной из бюрократических групп Германии, поскольку ординарный профессор является чиновником, а университет готовит тех, кто играет решающую роль при такой специфической конфигу-

³ Рингер, правда, упоминая здесь же Мангейма, замечает: «Манхейм рассматривает этот термин [«идеология» – В.К.] в еще более узком смысле, относя его исключительно к сознанию, направленному в прошлое, – к защитно-оправдательной позиции класса, отживающего свой век» (С. 8-9). Эта фраза ставит меня в тупик на фоне следующего недвусмысленного высказывания самого Мангейма, который в работе «Идеология и утопия» (1929) указывает, что «на наших глазах» произошел переход ко «всеобщему» применению понятия «тотальной идеологии». Это означает, что под понятие идеологии подводится теперь «не только позиция противника, но и все возможные позиции, в том числе и своя собственная» (Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 70-71). Это мелкий, но характерный пример неадекватности. Но важнее здесь понять процитированный вывод Мангейма во всей его полноте: если вы заняли позицию «идеологического объяснения», то будьте уверены – ваша позиция также, в конечном счете, не сможет уклониться от симметричного идеологического рассмотрения. А самое главное, что в конечном счете придется искать выход из тупика взаимного идеологического разоблачения.

рации модернизационного процесса, то есть других чиновников. Сразу же надо заметить, что, отметив это в начале книги, Рингер больше не обращается к вопросу о связи университетской профессуры и бюрократии. А жаль, поскольку остается совершенно непонятно, как и почему лояльнейшая бюрократическая группа университетских преподавателей вдруг становится такой нелояльной в Веймарский период⁴. Является ли поведение университетских мандаринов признаком того, что бюрократия в целом утрачивает свой социальный статус? Или же идут какие-то процессы дифференциации в недрах самой бюрократической группы? Все эти и другие вопросы остаются не только без ответа, но и вообще не поставлены.

Согласно Рингеру, в анализируемый им период (1890-1933) процесс индустриализации в Германии ускоряется, университетские мандарины утрачивают свой статус элиты и духовных менторов, что порождает специфический строй их идей и теорий. Тип этот формируется в конце XVIII- начале XIX вв., а в своей университетской ипостаси локализуется в гумбольдтовской модели университета. Принципы университета Гумбольдта являются также выражением мандаринской идеологии, включая такие ее особенности как неутилитарность, претензия на формирование у студентов мировоззрение посредством культивирования/воспитания, идеализм и т.д.

На мой взгляд, «идеальный тип», посредством которого Рингер пытается организовать и объяснить специфику немецких гуманитариев, не выдерживает никакой критики. Его можно сфальсифицировать сотнями разных способов. Рингер, впрочем, прекрасно осознает, что «идеальный тип» не может претендовать на строгость и точность (об этом правда, упоминается лишь в связи с его пересказом методологических идей Вебера (С. 396-397)) – он сам работает в русле «понимающей» методологии, на которую столько раз обрушивается в своей книге⁵. Но даже если мы не можем точно сказать, какое именно число примеров должно служить основанием для отказа от предложенной модели, все же систематические и принципиальные искажения, вносимые ей, имеют некоторый предел. Сказанное не означает, что исходная догадка Рингера не верна – для всякого, кто знаком с немецкими текстами рассматриваемого Рингером периода, очевидно, что они обнаруживают множество дискурсивной регулярностей, и многие из них совершенно верно описаны Рингером. Но я придерживаюсь со-

⁴ Ср. С. 258 и далее – пример такого рода нелояльности, доходящей, как пишет Рингер, «до намеренных оскорблений в адрес новой власти».

⁵ Испытывая слабость к Макс Веберу, Рингер сравнивает свой подход с подходом Вебера (и в какой-то степени Мангейма), но напрочь отказывается опознавать его сходство, например, с «идеальными типами» Э. Шпрангера (ср. 455). (Есть старый герменевтический принцип: коль скоро ты взялся чтение чьих-нибудь произведений, то читай благожелательно – настолько, насколько это возможно. Рингер, мне кажется, благожелательно прочел только некоторых из своих героев.) Во вводных методологических пояснениях Рингер говорит о «каузальном» характере своего подхода. Но если говорить серьезно, то никакой каузальности исследование не фиксирует – это сугубая метафора. Подход Рингера убедителен постольку, поскольку мы *понимаем*, что немецкий профессор мог болезненно воспринимать утрату своего статуса и пытаться компенсировать эту утрату пропагандой определенных взглядов. Причинное объяснение имеет намного более жесткую форму: «если, то».

всем других гипотез о происхождении этих регулярностей. И вопрос здесь несколько глубже проблемы, является ли феномен «мандарина» сугубо немецким или не только немецким понятием, исчез ли он после прихода к власти нацистов или позже и т.д. То, что Рингер описывает как единый тип «мандарина», и это первое возражение, является намного более сложным явлением, в котором соседствует *множество разных по своему генезису уровней*. Например, Рингер считает, что особенности немецкой модернизации оформили специфически мандаринское понимание позиции немецкого ученого как заботящегося об «общем благе» народа, идеальной культуре, нравственности и проч. Получается, и следующее высказывание должно принадлежать немецкому мандарину:

«Что же подходит для человека заслуженного и в то же время бедного, который нуждается в досуге вашего же ради назидания? Для подобного человека, о мужи афиняне, нет ничего более подходящего, как получать даровой обед в Пританее, по крайней мере для него это подходит гораздо больше, нежели для того из вас, кто одержал победу в Олимпии верхом, или на паре, или на тройке, потому что такой человек старается о том, чтобы вы казались счастливыми, а я стараюсь о том, чтобы вы были счастливыми, и он не нуждается в даровом пропитании, а я нуждаюсь. Итак, если я должен назначить себе что-нибудь мною заслуженное, то вот я что себе назначаю – даровой обед в Пританее».

Этот «немецкий мандарин» по имени Сократ выступает в 399 г. до н. э. на суде в Афинах (Апология Сократа, 36 d-e). А вот как рассуждает еще более древний «мандарин» – Ксенофан из Колофана (DK, В 2):

Если кто скоростью ног одержит победу [в ристаньи],
Иль в пятиборьи – там, где Зевса священный удел,
У Писийских берегов в Олимпии – или в боренье
[В первые выйдет], а то – в тяжком кулачном бою,
Иль в состязаньи ужасном, которое кличут «панкратий»,
Сразу в глазах горожан станет он много славней,
Станет сидеть впереди на видном месте в агонах,
Станет паек получать он за общественный счет
От государства, на память дадут ему ценный подарок.
Кони его победы – то же получит сполна!
Хоть не достоин того он, что я, ибо лучше, чем сила
Мужей или коней наше уменье (σοφίη) [стократ].
Вздорен обычай сей, право, и несправедливо к тому же
Силу предпочитать мудрости [нашей] благой.

Эти примеры указывают, что в модели «немецкого мандарина» с его претензией на социальную исключительность, обусловленную спецификой его когнитивных компетенций (попечение об общем благе), нет, по сути, ничего ни немецкого, ни мандаринского (бюрократического) – это общие места того типа

дискурса, которые традиционно производят носители светского знания в европейской культуре. Такого рода примеры можно множить и дальше, но и без того читатель легко может сообразить, что такого рода претензии – свойственные, как полагает Рингер, немецким мандаринам, – в равной степени характерны, например, для позитивизма, который Рингер регулярно противопоставляет философии немецких мандаринов, – вспомним роль, которую отводит социологам Огюст Конт. Но если «мандарины» окружают нас в истории повсюду, то возникает вопрос, в чем состоит продуктивность описания таким образом именно немецких университетских профессоров?

Но не нужно обращаться даже в прошлое, чтобы фальсифицировать этот аспект используемой Рингером модели «мандарина». Сравним две цитаты. Первая в типичном для Рингера оценочном ключе:

«Даже Эрнст Трёлч однажды позволил себе туманное высказывание о «веке прессы и журнализма, который вульгарно развенчивает [zerschwätzen], преждевременно вытаскивает на свет и стремительно растрчивает все, что можно». Подобного рода обобщения на тему влияния демократии на культуру сделались распространенной болезнью того времени. Безусловно, ортодоксов эта болезнь поразила куда сильнее, чем умеренных, однако ее микробы кишели повсюду» (С. 290).

Если во этих (и многих похожих) рассуждениях Рингера заменить «демократию» на «рынок» или «неолиберализм», то мы получим вот такие фигуры речи уже вполне современного французского автора:

«Я действительно считаю, что телевидение с помощью различных механизмов ... подвергает большой опасности самые различные сферы культурного производства: искусство, литературу, науку, философию, право. Я даже полагаю, что они, вопреки тому, что думают и говорят, ... подвергают не меньшей опасности политическую жизнь и демократию»⁶.

Мандарин, который таким вот образом опасается за высокую культуру, протестуя против натиска рынка и усредненного сходства под маской многообразия⁷, а также против торжества общих мест⁸, в данном случае Пьер Бурдьё. Напомню, что именно этот типичный мандарин по структуре своей аргументации в период своей непримиримой борьбы с неолиберализмом, воодушевившись работой Ф. Рингера, в более молодые годы азартно выводил на чистую воду «политическую онтологию Хайдеггера». Но я не вижу никакой существенной разницы между lamentациями позднего Бурдьё относительно сугубой вредности свободного рынка и критикой торжества вульгарной демократии или «масс» в сочинениях немецких авторов начала XX в. Можно взять также огром-

⁶ Бурдьё П. О телевидении и журналистике. М.: Прагматика культуры, 2002. С. 21.

⁷ «Наиболее бросающиеся в глаза отличия, в частности связанные с политической окраской тех или иных изданий (которая, впрочем, "линяет" все больше и больше ...), скрывает за собой глубинное сходство, связанное с ограничениями, накладываемыми источниками информации и целой серией механизмов, главным из которых является логика конкурентной борьбы». (Бурдьё. Указ. соч. С. 37)

⁸ «Существуют уже готовые собеседники, и это освобождает [журналистов – В.К.] от необходимости искать кого-либо, кому действительно есть что сказать» (Там же. С. 45).

ную массу критической литературы по поводу Болонского процесса – во всей это критике можно без труда опознать аргументы «немецких мандаринов», сформулированные немного более современным языком. Да и то необязательно – в потоке этой критики постоянно твердится об окончательном разрушении Гумбольдтовой модели университета.

Сказанное не означает, что я намереваюсь развенчать Бурдые как «мандарина» (хотя я настаиваю, что позднего Бурдые с его критикой неолиберализма можно описать в точном соответствии с этим «идеальным типом»). Это говорит лишь о том, что модель, предложенная Рингером, далеко не объясняет *специфику* немецкой гуманитарной науки анализируемого периода. Она описывает какой-то другой, но, очевидно, намного более широкий феномен, связанный с более фундаментальными аргументативными рефлексам носителя светского знания в западной культуре.

Вторая группа критических аргументов по поводу эвристической продуктивности используемой модели «немецкого мандарина» может быть сформулирована несколько иным образом. Если эта модель Рингера нечто объясняет, то она должна показывать, что взгляды мандаринов действительно специфичны. Т.е. у мандаринов не должны встречаться определенного рода позиции, которые встречаются у других социальных групп, и, напротив, встречаться определенные позиции, которые у других групп не встречаются. Но это не так. Представители немецкого академического сообщества воплощают *весь спектр* идеологических взглядов своего времени. Более того, этот тезис можно даже усилить, сказав, что они его в первую очередь и воплощают. Исключение, пожалуй, составляют лишь наиболее радикальные позиции⁹, которые противоречат минимуму социального контракта, существующего между немецким университетом как государственным учреждением и государством (кстати и сейчас, насколько мне известно от коллег, любой университетский преподаватель в той же Германии подписывает контракт, где подтверждает свою лояльность конституционному порядку страны). В подтверждение этому я приведу только одно высказывание по этому поводу Карла Мангейма, который – в отличие от Макса Вебера – говорит не о норме ценностной нейтральности, а о *фактическом* положении в немецком университете в Веймарский период: «*современное образование* исконно является сферой борьбы, миниатюрной копией борющихся в социальной сфере стремлений и тенденций»¹⁰.

К сожалению, этот момент полностью заретуширован Рингером. Почему возникает различие между мандаринами-ортодоксами и мандаринами-модернистами? Как среди «мандаринов» могли взяться такие «радикалы» как Эрнст фон Астер¹¹? Куда девались из изложения Рингера все марксисты-франкфуртцы – а ведь именно они, а вовсе не «ортодоксы» в первую очередь набросились на К.

⁹ Да и они, как правило, репрезентированы немецкими приват-доцентами, а поскольку Рингер фактически игнорирует важное социальное различие роли приват-доцента и штатного профессора, то это позволяет включить в университетское сообщество всех, кто формально имел возможность преподавать.

¹⁰ Мангейм. Указ. соч. С. 133. Выделение автора.

Мангейма после выхода работы «Идеология и утопия»¹². Более того, даже в период первой мировой войны, как вынужден признать и сам Рингер, среди немецких университетских ученых существуют значительные расхождения, что вообще удивительно, учитывая ситуацию военной мобилизации. Период первой мировой войны – это вообще уникальная ситуация, в период которой наука во всех воюющих странах оказывается втянутой в пропагандистскую компанию. Этот период продуктивно рассматривать кросстрановым образом, и тогда можно заметить, что риторика «философов, пошедших на войну» во всех странах удивительно похожа – как и пропагандистские плакаты всех воюющих стран. Возьмите, например, работу *непримиримого критика* немецкой философии Владимира Эрна «От Канта к Крону», и вы без труда подведете его под понятие «ортодоксального немецкого мандарина» по критериям Рингера (только вот Эрн с этим, конечно, никогда бы не согласился). Еще более удивительно, что Рингер отказывается замечать действительно страшные последствия первой мировой войны для сциентистской установки. Напомню, что число жертв этой войны было поистине колоссальным в сравнении со всеми предшествующими. А эти массовые жертвы были бы невозможны без достижений научно-технического прогресса (таких, например, как газ иприт). Критика сциентистского рационализма и техники в первую очередь объясняется именно этим, а вовсе не социальными комплексами немецких университетских ученых.

«Углубляющиеся расхождения» существуют и в послевоенный период, как признает и сам Рингер (ср., например, С. 278), но никаких внятных объяснений по этому поводу у него нет. Она подменена некой риторикой, утверждениями, что «модернисты» – это обладатели «реалистического взгляда», «интеллектуальной честности» и прочими добродетелями, с помощью которых Рингер обычно описывает позицию лично более симпатичных ему мыслителей (вроде Макса Вебера). Лишь в одном месте он пытается поставить вопрос о причинах «неортодоксальных взглядов» фон Астера, фон Визе и некоторых других авторов-модернистов. Но это объяснения сугубо *ad hoc*, со ссылкой на

¹¹ Ученика, кстати, Теодора Липпса, писавшего у него диссертацию о законе причинности. Замечу в связи с этим, что характеристика Т. Липпса у Рингера (С. 370) является фантастически избирательной – Липпс до самого последнего периода был сторонником каузальной психологии, и лишь когда его ученики отвернулись от него и встали на позиции Гуссерля, он старался реформировать свою позицию в ненатуралистическом ключе. Рингер цитирует одну из немногочисленных работ этого времени, игнорируя все предшествующее творчество Липпса – одного из самых влиятельных психологов этого своего времени (достаточно взглянуть на количество его работ, переведенных на русский язык).

¹² На мой взгляд, его работа более полемизирует с марксизмом, а вовсе не представляет собой «заостренную атаку на всю мандаринскую традицию созерцательного знания и чистой истины» (С. 515). Можно аргументировано показать, что пресловутая «свободно парящая интеллигенция» (которая, как это обычно и водится по отношению к Мангейму, описана у Рингера примитивизированно) в понимании Мангейма – это, в первую очередь, именно университетское сообщество (т.е., получается, что Мангейм типичный мандарин). Вообще Рингер изменяет свой критический тон, как только речь заходит о социологах, которые стали на то время respectable фигурами в англоязычном научном мире. Но того же Макса Вебера, которого Рингер всячески противопоставляет прочим мандаринам, можно, изменив акцент цитирования, описать как типичнейшего ортодоксального мандарина.

некий «уникальный личный опыт» (С. 285). Получается, что Тённис был модернистом, *потому что* был сыном фермера, а вместе с Визе они еще и *много путешествовали*. Необоснованным выглядит и замечание о том, что «среди критиков ортодоксально-мандаринских взглядов было немало евреев» (С. 286), так как евреев полно и среди тех, кого Рингер причисляет к ортодоксам (Гуссерль, например, множество других феноменологов и неокантианцев). Если резюмировать эти замечания, то можно сказать: даже задействованный Рингером материал можно описать существенно иначе, чем делает он, стремясь во что бы то ни стало представить «мандаринов» как единый социальный тип. С не меньшим успехом на его же материале можно показать, что немецкие университетские ученые стоят на разных позициях, а немецкое академическое пространство – это, повторю компетентное суждение Мангейма, «миниатюрная копия борющихся в социальной сфере стремлений и тенденций». Читателю книги я очень рекомендую следующий мыслительный эксперимент: пусть он попробует сконструировать позицию, которая бы противостояла рингеровскому «мандарину», – интересно, *кто* у него в итоге получится?

Но это критическое соображение можно усилить, указав на то, что Рингер *систематически* отсекает массу позиций: они или крайне избирательно включены или вовсе исключены из рассмотрения. Трудно объяснить причину столь последовательного искажения, если не прибегать к идеологической критике и подозрению (а я все же не буду этого делать, хотя соблазн велик). Но, возможно, автор просто настолько очарован своей моделью, что невольно выбирает то, что ее подтверждает, вытесняя все то, что ее фальсифицирует. Или же все дело в круге источников, с которыми работает Рингер. А последнее далеко немаловажно. Дело в том, что автор не раскрывает характер выборки своего материала, но при этом его работа пестрит высказываниями типа «большинство» (это отъявленные, «ортодоксальные» мандарины) и «меньшинство». Но это произвольные оценки, во всяком случае они вызывают у меня аргументированные возражения, когда я читаю подобного рода рассуждения автора, стремящегося создать впечатление полноты и «слоновьего эмпиризма», как выражается Д. Александров (С. 600)¹³. Если он и слоновий, то, мне кажется, лишь в том смысле, как мы говорим о «слоне в посудной лавке». При чтении Рингера складывается впечатление, что «антипозитивизм», полемика против материализма, психологизма, натурализма или историцизма – это некая специфичная для немецких университетских профессоров позиция, подпитываемая их неприятием английской, американской и прочей «западной» науки, страхом индустриализа-

¹³ По какой-то причине описание этих не вошло в русское издание Рингера, а цитируется только в послесловии Д. Александрова. Я не сомневаюсь, что Рингер прочитал много. Но не могу понять, откуда такие пробелы и избирательность. Рингер пишет: «Я прочитал все, написанное этими людьми в эти годы, что имело методологический характер или было относительно (??) неспециальным» (С. 600). Может быть дело в последней оговорке? Для меня она совершенно непонятна: как оказалось, например, что из огромного корпуса текстов Т. Липпса в поле зрения Рингера попал один маргинальный текст, а все остальные работы были проигнорированы?

ции, возрастания социальной роли и самостоятельности «масс» и проч. Например, он утверждает: «Антипозитивистская полемика двадцатых годов не может служить доказательством того, что позитивизм обладал существенным весом в интеллектуальной жизни Германии» (419). Я вообще не понимаю, как можно было упустить из виду не просто рассеянные работы, но огромные институциональные проекты, существовавшие на протяжении многих десятилетий в рамках немецкой университетской науки. Например, один из мощнейших и старейших немецких журналов «*Vierteljahrsschrift fuer wissenschaftliche Philosophie*» – орган позитивистской философии, выходящий с 1877 г. (первоначально под редакцией Р. Авенариуса). Этот журнал является намного более ранним и устойчивым предприятием, чем множество немецких философских журналов «идеалистической» направленности (включая «*Kantstudien*», которые выходят только с 1897 г. (и это при том, что Рингер настаивает на тотальном торжестве кантианства)). Если бы позитивизм был столь чужд немецкой и австрийской академической культуре (а Рингер не различает два эти явления), то как объяснить его колоссальное влияние даже в России (надо ли напоминать, критике какого течения единственная философская работа В. Ленина?) Также невозможно понять, как от внимания Рингера ускользнули *три главных спора* в немецкой университетской философии второй половины XIX-го века – спор о материализме, спор о дарвинизме и спор об «*ignorabimus*»? Так, для справки, отмечу, что самой популярной по числу изданий и переводов немецкой философской работой XIX века является «Сила и материя» Л. Бюхнера, а один из самых тиражных учебников по философии начала XX в. принадлежит «критическому позитивисту», как он сам себя называл, Вильгельму Ерузалему?¹⁴ Вот и посудите, было ли с кем полемизировать «идеалистам»? Вывод из этого прост: Рингер больше ориентируется на саморепрезентации некоторых историй философий (Виндельбанд, Фришайзен-Кёллер и т.д.), влияние которых нетрудно опознать в его тексте, а не на реальную конфигурацию направлений в немецкой науке этого времени.

Теперь про психологизм. Начнем не с Рингера, а с того, к чему приводит не критичное чтение Рингера. В уже упоминавшейся рецензии Р. Фрумкиной читаем: «изучение психологии долгое время представлялось немецким мандаринам чем-то чрезмерно «прикладным», в силу чего кафедры, где психология преподавалась достаточно глубоко, до поры возглавлялись философами». Появление этого удивительно неверного, на мой взгляд, суждения нетрудно объяснить, если прочитать то, что говорится, например, на С. 376-377 работы Ринге-

¹⁴ В период между 1899 и 1923 гг. учебник вышел 10 изданиями. Дважды (!) был переведен на русский язык. В предисловии ко второму русскому переводу Н. Виноградов пишет: «За время, протекшее с первого издания (1899), книга получила большое распространение не только в немецких странах, но и далеко за пределами их, будучи переведена на языки: русский (1902), польский (1907), английский (1910) и японский (1913)» (*Ерузалем В. Введение в философию*. М.: Московское книгоиздательство, 1914. С. V). Мартин Бланкенбург, обративший внимание на это обстоятельство, замечает, что работа, например, Г. Зиммеля «Основные проблемы философии» в период с 1910 по 1964 гг. претерпела всего 8 изданий (*Blankenburg M. Philosophie als Institution // Dialektik I: Beitrage zu Philosophie und Wissenschaften*. 1984. S. 110).

ра. Здесь он пишет о статье В. Вундта 1913 года, где тот настаивает на единстве философии и психологии, указывая, в частности, на то, что «психология вышла далеко за пределы той области, где применимы лабораторные методы». Т.е. вот так и получается, что немецкие философы каким-то особым, неэкспериментальным, неутилитарным и неприкладным образом развивают под своим началом психологию, защищая ее от воображаемого позитивистского и натуралистического противника. Но это абсолютно неверное изложение всей этой ситуации. Во-первых, статья Вундта является одной из статей в обширнейшей дискуссии, которая выплеснулась даже на страницы газет после того, как тенденция замещения философов экспериментальными психологами достигла своего апогея в 1912 году. Тогда кафедра Германа Когена была отдана правительством вовсе не какому-то там Э. Кассиреру (которого туда метили марбургские патриархи), а психологу-экспериментатору Э. Йеншу. Добавлю также, что Гуссерль в эпоху, которую Рингер описывает как торжество «идеализма», не мог получить место профессора в Гёттингене даже после публикации «Логических исследований». Этому противились его коллеги-«философы» по факультету – все сплошь *психофизиологи-экспериментаторы*, относившиеся к идеализму еще похуже Рингера¹⁵. Достаточно было бы проанализировать хотя бы разгром книги В. Дильтея «Идеи к описательной и анализирующей психологии» Германом Эббингаузом в конце XIX в., чтобы заподозрить, что ни о каком торжестве мандаринского «идеализма» и «понимающего» подхода там не было и речи. Массу возражений вызывает и описание Рингером других дискуссий, например, полемики вокруг историзма. Все эти дискуссии, добавлю, не являются на пустом месте, а имеют, помимо прочего, и вполне определенные *социальные* и *институциональные* причины. Но только это не некий общий «идеальный тип» немецкого мандарина, а сложные процессы и конфликты *внутри* немецкого академического сообщества. Но почему-то все эти основные дискуссии или проигнорированы Рингером, или изложены каким-то причудливо избирательным образом (как в упомянутом случае со статьей Вундта). Если кратко резюмировать существо возникающей здесь проблемы, то можно сказать следующее. XIX – начало XX вв. – это сложный период формирования современной модели научного знания как такового. Этот процесс не является простым – в нем конкурировало множество научных программ, часть из которых уже забыта, тогда как другие смогли одержать победу. В силу ряда обстоятельств, значительная доля этих методологических дискуссий протекала именно в немецкой академической среде. В этой борьбе немаловажную роль играли и социальные факторы – способность опереться, например, на определенные институциональные рычаги и стереотипы¹⁶. Но все же там была и существенная «идеальная», содержательная составляющая, которая также является фактором

¹⁵ См, например, характерное письмо Гуссерля Наторпу от 23 декабря 1908 года с описанием расклада сил в Гёттингене (*Гуссерль Э. Избранная философская переписка*. М.: Феноменология - Герменевтика, 2004. С. 115-120).

¹⁶ См. *Куренной В. Уединение университетского философа // Логос*. 2007. № 6. С. 63-74.

воздействия и без учета которой нельзя понять эту динамику. Иначе непонятно, почему, например, Майнеке (мандарин-модернист в терминологии Рингера) мог «хотя и без энтузиазма, смириться с выводами из собственных открытий» (С. 235), а другие мандарины были не способны руководствоваться логикой, а озабочены только безнадежными попытками защитить свой падающий социальный статус. Рингер посвящает весьма много места пересказу некоторых элементов этих дискуссий, но, к сожалению, главным образом для того, чтобы подтвердить целостный и единый характер своего «идеального типа» немецкого мандарина (несмотря на отмечаемое различие «ортодоксов» и «модернистов»). Этот исторический период интересен и продуктивен как столкновение *самых разных* позиций, как состязание различных стратегий аргументации, наличие которых неверно отрицать.

Приведенные аргументы можно дополнить и с другой стороны, а именно, показав, что взгляды, которые Рингер считает свойственными тем, кто профессионально связан с университетом, распространены и *помимо* университета. Он включает, например, в свой обзор взгляды интеллигентов из кружка Стефана Георге (С. 228 и далее). Но тем самым важное социальное и институциональное различие стирается – а это означает, что используемая модель объяснения достигает убедительности посредством принципиального упрощения (тот же Мангейм, например, прекрасно понимал и даже описал различие между кружком Георге и университетской средой). Или возьмем, например, столь крупную фигуру как А. Шопенгауэр: согласно реконструкции Рингера его взгляды окажутся идеально мандаринскими, хотя Шопенгауэр является сознательным радикальным критиком немецкой университетской философии. Как это возможно? Приводить другие примеры, иллюстрирующие это критическое возрождение, я не вижу большой необходимости, но, полагаю, понятно, какого рода проблема здесь возникает.

Еще один сюжет, который бы я хотел затронуть, связан с Гумбольдтовской моделью университета, каковую Рингер трактует как важную составную часть мандаринской идеологии. Здесь его недоброжелательный характер, на мой взгляд, просто зашкаливает. Даже такой классик британского классического либерализма как Дж. Ст. Милль отдавал дань уважения работе В. фон Гумбольдта о пределе вмешательства государства в личную жизнь граждан. Но для Рингера и эта работа – часть мандаринской идеологии, поскольку апеллирует к «культуре». Ну что ж, не любит Рингер Гумбольдта, о таких вкусах спорить бессмысленно. Но все же объективно мне непонятно, каким образом можно вменять формирование мандаринской модели Гумбольдту. Проблему мандаринства по Рингеру можно сформулировать вот таким образом: модель Гумбольдта стимулировала складывание особой социальной корпорации, группы привилегированных лиц, которые выступили массивным единым фронтом, когда возник риск для этих привилегий. Здесь надо заметить, что проблема корпоративизации – это бич университета как такового. Собственно говоря – это ключевая

проблема в том числе и для нашей с вами ситуации: автономия это благо, которое, к сожалению, слишком часто в истории университета становится жертвой злоупотребления. И Гумбольдт прекрасно понимал, что «застывание в цеховщине» постоянно угрожает научному и университетскому сообществу. Но неверно, что модель Гумбольдта не предусматривала этот риск и не включала предохранительных механизмов от него. Таковых собственно два: назначение на должность профессора – это прерогатива государства, а не самого университетского сообщества. Поэтому неверно считать, что Гумбольдт требует от государства только средств для того, чтобы университетские мандарины существовали так, как им заблагорассудится. К сожалению, несколько страниц текста Гумбольдта очень мало из его критиков, видимо, смог осилить (что уж тогда критиковать Рингера, имеющего дело с чудовищно сложным материалом?). Итак, цитирую: «государство должно заботиться ... о богатстве, т.е. мощи и разнообразии умственных ресурсов – путем правильного выбора привлекаемых к этому делу людей, и о свободе их деятельности. Свободе же опасность угрожает не только со стороны государства, но и со стороны самих учреждений, которые при своем возникновении приобретают определенный дух и впоследствии склонны подавлять проявление иного духа»¹⁷. Сказано, кажется, яснее некуда: модель Гумбольдта¹⁸ исключает единомыслие, ведущее к корпоративизации и формированию в университете «определенного духа». Второй предохранитель инкорпорировал в фундаментальном принципе «уединения и свободы»: «Поскольку эти учреждения могут достигнуть своей цели только в том случае, если каждое из них по мере возможности будет сопрягаться с чистой идеей науки, то *уединение и свобода* суть господствующие в их стенах принципы». Гельмут Шельски 50 лет назад так комментировал этот фундаментальный принцип, который, похоже, также составляет какую-то необъяснимую трудность для понимания критиков Гумбольдта: ««Уединение и свобода» – эта формула в качестве фундаментального институционального принципа университета сформулирована Гумбольдтом столь ясно и выразительно, что можно только удивляться ее почти полному забвению в современной дискуссии об университете. Когда вы читаете современную обширную литературу, посвященную вопросам университета, то вы видите, что почти на каждой странице пространно обсуждается *свобода* – свобода исследования и преподавания, свобода самоуправления и т.д. Слово *уединение* в большинстве этих работ об университете вообще не содержится, лишь в редких случаях мелькая в придаточных предложениях. Во всяком случае, сама суть этого вопроса не играет какой-то принципиальной роли в современной интроспекции университета. Однако обе эти идеи подобны двум сторонам одной монеты.

¹⁷ фон Гумбольдт В. О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Берлине // Неприкосновенный запас. 2002. № 2. С. 7.

¹⁸ Не будем вдаваться здесь в вопрос о том, насколько идеи Гумбольдта были действительно воплощены в немецкой модели, а будем просто следовать посылке Рингера, который исходит именно из такого допущения.

Дело в том, что в понятии «уединение» заключено социальное обязательство университета и ученого, а в понятии «свобода» – их социальные права. Забвение принципа уединения означает, следовательно, что права института привлекают живое внимание, тогда как обязанность, которая является социальным основанием этих прав, игнорируются. Такое поведение, конечно, хорошо известно в нашем обществе всеобщего благосостояния, в государстве, на которое возложена забота о нашем существовании. И оно по праву описывается как эксплуатация институтов в собственных интересах»¹⁹. Так вот, обязанность «уединения» (помимо принципа картезианской достоверности) указывает на то, что Гумбольдтовская модель нормативно воспрещает сотрудникам университета блокироваться ради преследования корпоративных интересов (в частности, ради поддержания своего утрачиваемого социального статуса) помимо тех, что продиктованы потребностями конкурентного научного поиска и свободы преподавания и исследования. А «мандаринство», которое представляет соблазн всякого университета, включая все современные, – это и есть такой неправомерный социально-корпоративный феномен. И прискорбно, что Рингер полностью проигнорировал эти нормы, подгоняя идеи Гумбольдта под свою модель «мандарина». К сожалению, именно такого рода произвол больше всего дискредитирует методы «понимающей» социологии, которые использует Рингер.

Наконец, совершенно непонятно, *почему* настойчиво бытует точка зрения, что «сложившаяся в XIX веке у нас в России система образования В главных чертах следовала именно традиции «немецкого университета»»²⁰. Если какой «традиции» она и следовала, так это, скорее, бюрократически регулируемой и бюрократически подконтрольной *французской* системе. Во всяком случае я готов доказывать, что попытка привить некоторые (очень и очень избирательные) принципы Гумбольдта ограничены либеральным уставом 1863 года. А именно: 1) первым параграфом этого устава («Университет есть ученое и высшее учебное установление, состоящее из факультетов, как нераздельных частей одного целого» (!)), который реформаторы комментировали в духе Гумбольдта; 2) и вводимым этим же уставом института приват-доцентуры с целью поднять чрезвычайно низкий уровень университетского преподавания с помощью механизма конкуренции. Но и этот устав был фактически отменен через 20 лет. Также отмечу, что и следующее суждение, инспирированное прочтением Рингера, является ложным. Р. Фрумкина в своей рецензии замечает: «в целом немецкие университеты осознавались социумом как предназначенные «для вдохновения» – недаром там стремились учиться тысячи русских студентов и курсисток»²¹. Русских студентов в немецкие университеты в обязательном порядке *направля-*

¹⁹ Schelsky H. Einsamkeit und Freiheit: Zur Sozialen Idee der deutschen Universität. (Antrittsvorlesung Münster 24. Juni 1960) Münster Westf.: Verlag Aschendorff, 1960. S. 7-8.

²⁰ Фрумкина. Указ. соч.

²¹ Там же.

ло правительство и университеты не для «вдохновения», а для того, чтобы они там хотя бы чему-то могли научиться.

В завершение следует вопрос, который является, несомненно, ключевым в идеологическом отношении также и для работы Рингера. Речь идет о т.н. «вине» немецкого университета. Рингер, конечно, не связывает немецкую интеллектуальную традицию с нацизмом напрямую, но все же связывает с ней создание определенных косвенных предпосылок торжества нацистской идеологии. На мой взгляд, спекуляции по этому поводу – я говорю не о Рингере, а о целом потоке соответствующей литературы – зачастую далеки от корректности и не лишены рессантиментальной подоплеки. Людей продолжают интересовать размышления М. Хайдеггера и К. Шмитта (в отличие от многих их политкорректных современников из других стран) – и вовсе не потому, что они «немецкие мандарины». При обсуждении этих вопросов нелишне вспомнить одно понятие, которое используется в современных философских дискуссиях об этике. Это понятие «удачи». Многие люди проживают добродетельную жизнь не потому, что они более моральны или придерживаются каких-то более добротных этических норм. А просто потому, что они никогда не оказывались в сложной и неконтролируемой ими ситуации, когда любой моральный выбор будет невыносим или в любом случае плох (а таковы, к сожалению, большинство действительно серьезных моральных решений). Но имеют ли они основания, чтобы морализаторствовать в отношении тех, кого обошла эта моральная удача? Немецкие философы оказались в ситуации «политической неудачи», в ситуации, которая только с определенной дистанции кажется ясной. Президент Барак Обама, как и американские философы, также рассуждают об «идеализме» американской политики, о «единстве» американской «нации» и о «патриотизме» – повод ли это для того, чтобы уличать их в культивировании взглядов, в мутной воде которых может родиться черти что? Можем ли мы утверждать, что какие-то действительно серьезные интеллектуальные комплексы взглядов, априори более политически добротны, чем другие? Надо ли напоминать, во что может превратиться трогательный гуманист Маркс, когда его теории было дано определенное политическое употребление? Американским или французским философам политически повезло больше, им не приходилось делать тех выборов, которые приходилось делать немецким или тем же русским ученым. Но вот к роли в этой удаче *характера их теоретических воззрений* стоит подходить с более прохладной головой и с более сдержанным морализаторским пафосом. Это замечание не индульгенция – вопрос ответственности может и должен ставиться, но все же не стоит его сводить к морализаторским обличениям всей интеллектуальной традиции определенной страны.